

Живое небо



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Живое небо

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Живое небо / Э. Сероусов — «Автор», 2026

В мире, где каждая опасность устранена, а сверхразумный Опекун предупреждает беду за девять дней до искры, подросток Майя хранит в матрасе отцовский нож — единственную настоящую вещь в тёплой безопасной комнате мироздания. Её мать, капитан Виктория Стоун, в глубине мёртвых систем натывается на тёплую сферу размером с планету, полную миллиардов спящих в идеальном довольстве, и понимает: над её домом опускается такая же крышка. Пока над Землёй смыкается ласковый полог и город возносится в небо медовыми искрами, мать и дочь на разных концах галактики должны решить, что дороже — счастье без выбора или холодное живое утро.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Скользко после дождя	5
Часть вторая. То, что спит в металле	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Живое небо

Часть первая. Скользко после дождя

Дождь перестал час назад, а Майя всё ещё считала лужи.

Их было семь между школьным крыльцом и остановкой, и каждую можно было обойти по правой стороне, где плитка приподнята и вода уходит в решётку. Она знала это, потому что считала уже третий год. Другие не считали. Другие шли напрямик, шлёпая по воде, и вода разлеталась брызгами, и никому не делалось от этого ни холодно, ни мокро — ткань теперь была такая, что не намокала, и обувь такая, что не промокала, и простуд давно ни у кого не было, потому что простуда — это тоже маленький риск, а маленькие риски убрали первыми, ещё до больших.

— Стоун! — Тимур ехал на перилах спуска, боком, раскинув руки, будто перила были рекой, а он лодкой. — Гляди, оно даже не плачет!

«Оно» — это была система. Раньше, рассказывал отец, перила на мокром спуске пикнули бы: мягкий предупреждающий тон, и поручень чуть теплел под ладонью, напоминая держаться. Теперь не плакало. Теперь весь спуск был из нового материала, на котором нельзя поскользнуться, даже если очень стараться; можно было съехать вниз головой, и внизу тебя принял бы воздух, которого ты бы даже не почувствовал. Тимур это знал и потому ехал безрассудно — но безрассудство в таком мире было понарошку, как игрушечный меч, которым нельзя порезаться.

Он доехал донизу, прыгнул, обернулся. Он ждал, что она повторит. Он всегда ждал, с тем терпеливым, чуть обиженным упорством, с каким зовут за собой того, кто раз за разом не идёт.

— Я, наверное, пешком, — сказала Майя. — Там... скользко после дождя.

Слова вышли раньше, чем она успела их поймать. Скользко. На спуске, где нельзя поскользнуться, где инженеры целого мира постарались, чтобы ни одна девочка никогда больше не упала. Тимур не засмеялся — смеяться было не над чем, он просто не понял, — но что-то в его лице опустилось, как у человека, который в сотый раз потянул на себя дверь и в сотый раз вспомнил, что она заперта.

— Ну как хочешь, — сказал он и убежал под расходящиеся облака, лёгкий, пустой, счастливый той пустой лёгкостью, которой Майя завидовала и боялась.

Она пошла по правой стороне. Рукава она натянула на кисти, хотя было не холодно; в этом жесте не было смысла, и оттого он был честнее всех осмысленных, — так прячут не руки, а саму себя.

Город вокруг был вылизан до безопасности. Углы домов скруглены — о них нельзя было удариться. Бордюры мягкие — с них нельзя было упасть. Там, где когда-то был перекрёсток с машинами, тёк теперь ровный поток капсул, и капсулы расступались перед пешеходом беззвучно и без ошибки, как вода перед килем. Над всем этим, очень высоко и одновременно очень близко, был Опекун. Его нельзя было увидеть. Его можно было только почувствовать — как чувствуешь, что в соседней комнате кто-то не спит: тёплая, ровная, ни на секунду не отвлекающаяся внимательность, разлитая по воздуху, как запах.

Взрослые говорили о нём с тем особенным придыханием, с каким прежде, наверное, говорили о боге, — только этот бог был доказуем, работал круглосуточно и ни разу никого не подвёл. Он гасил пожары за минуту до искры. Он разводил на встречных курсах суда, которые ещё сами не знали, что встречны. Он находил опухоль, когда та была меньше зёрнышка, и

опухоли больше не убивали. Он был любовью, которой наконец дали руки, — так говорил дядя Даниэль, и глаза у него при этом влажнели.

Отец умер до Опекуна. В этом была вся штука, о которой Майя старалась не думать и думала всё время. Если бы Опекун был тогда — грузовая платформа не сорвалась бы с эстакады, потому что эстакаду закрыли бы на осмотр, потому что датчик усталости металла пискнул бы за девять дней. Девять дней. Она однажды услышала эту цифру — кто-то из инженеров обронил её при Даниэле, не подумав, а Майя стояла в коридоре, — и не смогла забыть. Мир, в котором она теперь жила, спас бы её отца за девять дней до того, как ему понадобилось спасение.

Он не дожил до этого мира. А она жила в нём — и не могла заставить себя даже съехать по перилам.

Капсула подошла бесшумно, приняла её, повезла. За окном тёк мягкий, безопасный, невозможно добрый город, и Майя смотрела на него и держала под рёбрами маленький холодок, которому не было имени, — он появлялся всегда, когда вокруг делалось слишком хорошо.

Даниэль встречал её одинаково: сначала из кухни доносился голос — «это ты?» — хотя кто ещё это мог быть, а потом появлялся он сам, с отвёрткой или тестером в руке, потому что в доме всегда что-нибудь подтягивалось, проверялось, доводилось до ума.

— Это я, — сказала Майя и сняла куртку.

— Руки холодные? — Он всегда спрашивал про руки. Это был его способ спрашивать про всё остальное. — Я поднял в прихожей на полтора градуса. Должно быть лучше.

— Нормально, дядь.

Он подошёл, взял её ладони в свои — тёплые, широкие, в мелких шрамиках от старой, ещё дикой работы, когда паяли руками и можно было обжечься, — подержал, проверяя, и отпустил, успокоенный. Он был младшим братом отца и не был похож на него ничем, кроме одного: когда он молчал и думал, он поджимал нижнюю губу точно так же. От этого у Майи иногда перехватывало горло — не потому, что она любила это видеть, а потому, что это было единственное место, где отец ещё чуть-чуть жил, и жило оно в чужом лице, взаймы.

Даниэль строил Опекуна. Не всего, конечно, — он всегда поправлял: «я один из тысяч, я маленький винтик», — но винтик он был счастливый. Он верил в свою работу так, как верят в лекарство, спасшее ребёнка. Он приходил домой уставший и просветлённый, рассказывал за ужином о контурах отказоустойчивости и предиктивных моделях так, будто читал стихи, и Майя слушала не слова, а голос — ровный, тёплый, убеждённый, — и ей делалось спокойно и тоскливо разом.

Мир, который он строил, был уже почти достроен, и Майя росла внутри него, как растёт рыбка в аквариуме, не зная, что вода — не весь океан. В её школе не было ни острых углов, ни высоты, с которой упадёшь, ни задач без ответа в конце. На площадках качели не раскачивались выше пояса — датчик мягко придерживал. Еду подавали без косточек, без корок, без всего, обо что можно поперхнуться; сказки, которые читали малышам, давно переписали так, что волк никого не съедал, а только пугал и уходил, пристыжённый. Дети этого мира не разбивали коленок и не знали слова «шрам». Они были чистые, гладкие, добрые и удивительно, невыносимо спокойные — и Майя, у которой был шрам на ладони от той давней каменоломни и нож в матрасе, чувствовала себя среди них не старше и не мудрее, а как-то грубее, порченее, будто в ней завёлся сквозняк из какого-то более холодного и настоящего места. Она и была оттуда, из более холодного места. Её туда возил отец. А потом дверь туда закрылась, и ключ — тонкий, острый, складной — остался лежать в прорези матраса, дожидаясь дня, которого Майя ещё не умела вообразить.

В тот вечер, за ужином, Даниэль вдруг замер с ложкой на полдороге и сказал:

— Смотри.

Стена показывала новости. Майя редко смотрела — новости в этом мире были в основном о том, что всё хорошо, и от этого почему-то делалось тяжелее, как от слишком сладкого. Но сейчас Даниэль отложил ложку совсем, и по его лицу текли слёзы, спокойно, не мешая ему улыбаться.

«...последние арсеналы, — говорил диктор голосом, каким объявляют помолвку, — по данным всех независимых наблюдателей, перешли в состояние необратимой инертности. Боеголовки, которые ещё вчера считались боеспособными, сегодня — не более чем металл. Специалисты называют это спонтанным явлением. Официальные лица — концом самой длинной тени в истории нашего вида...»

— Ты понимаешь, что это? — тихо спросил Даниэль. — Майя. За всю историю. Впервые. Ни одной. Ни одной кнопки, которую можно нажать сгоряча, спяну, по ошибке. Мы вынесли из дома все ножи. Все до единого.

— Как это — спонтанно? — спросила она. — Само?

— Какая разница — само, не само. — Он вытер лицо ладонью, не стыдясь слёз, потому что это были хорошие слёзы, лучшие в его жизни. — Мир перестаёт быть диким, детка. Понимаешь? Твой отец погиб, потому что мир был диким. Потому что в нём ещё можно было сорваться с эстакады. Мы больше не будем дикими. Никто больше не сорвётся.

Майя кивнула, потому что он ждал кивка и потому что любил её. Но холодок под рёбрами сжался — маленький, ясный, без имени. Она смотрела, как взрослый, умный, добрый человек плачет от радости оттого, что где-то в мире умерла последняя опасность, — и не могла понять, почему ей самой хочется не радоваться, а тихо, по-звериному, попятиться к стене. Как будто заперли дверь. Как будто в доме, из которого вынесли все ножи, нечем стало и хлеб резать.

Она унесла эту мысль к себе и легла с ней, и мысль лежала рядом, холодная, живая, всю ночь.

Нож был отцовский.

Складной, с потёртой деревянной щёчкой и лезвием, которое отец подтачивал сам, — в мире, где лезвий почти не осталось, потому что лезвие это риск, а риск инженерно устранён. Майя хранила его в прорези матраса, как хранят непристойность или веру. Раз в несколько ночей она доставала его — не для чего-то, просто чтобы поддержать.

Она открывала его в темноте, одним движением большого пальца, как научил отец, когда ей было девять и это ещё было можно. Щелчок — короткий, сухой, единственный опасный звук в мягком доме. Холод стали, у которой есть край. Она проводила подушечкой пальца вдоль лезвия, не нажимая, чувствуя ту тонкую границу, за которой кожа разойдётся и выступит кровь, — и не переходила её, только чувствовала, что могла бы. Единственная вещь в доме, о которую можно было порезаться. И оттого единственная, которая казалась настоящей.

Отец подарил ей нож не как игрушку. «Однажды тебе понадобится что-то отрезать, — сказал он серьёзно, по-взрослому, как говорил с ней всегда, — и рядом никого не будет. Держи его острым. Тупой нож опаснее острого — он соскальзывает». Тогда она не поняла. Теперь ей казалось, что это было единственное настоящее наставление, которое она от кого-либо получила: держи острым то, чем однажды придётся резать самой.

В то утро — последнее — она попросила его подвезти. Просто попросила, капризно, из-за какой-то ерунды, из-за подруги, из-за того, что не хотела ехать капсулой одна; она до сих пор не помнила точно из-за чего, и это было хуже всего — что причина стёрлась, а последствие осталось. Он поехал другой дорогой, чтобы забросить её. Через эстакаду. Если бы она не попросила, он поехал бы низом, как всегда. Если бы. Она носила это «если бы» так же, как нож, — острым краем внутрь, и никогда не давала ему затупиться.

Экран над столом всё ещё бормотал новости, приглушённо, чтобы не мешать; она не гасила его нарочно — с ним было не так пусто. И потому она услышала — не увидела, а услышала — сухой женский голос, которого не было в этом мире вежливых, гладких дикторов. Голос был с зазубриной, живой, злой.

«...вы называете это спасением. Я называю это мягким вымиранием. Вид, который вычеркнул из себя риск, вычеркнул и рост. Мы не сорвёмся с эстакады, да. Мы и не полезем больше на эстакаду. И никуда не полезем. Мы не умрём с грохотом — мы уснём. С улыбкой. И назовём это заботой».

Майя подняла глаза. На экране, в углу, шла старая запись — женщина лет шестидесяти, с чернильными пятнами на пальцах и не сданным, видно, служебным пропуском на шнурке. Подпись гласила: «Д-р Елена Кан, соавтор проекта „Опекун“ (отстранена). Архив». Диктор уже говорил поверх — мягко, сочувственно, как говорят о выжившем из ума родственнике: доктор Кан, при всех её прежних заслугах, к сожалению, не разделяет всеобщего оптимизма; её взгляды не находят подтверждения; ей оказывается вся необходимая поддержка.

Запись оборвали. Снова пошло хорошее.

Но фраза осталась в комнате, как остаётся запах гари. *Мы уснём. С улыбкой.* Майя сложила нож. Щелчок вышел громче, чем ей хотелось, — сухой, окончательный. Она долго лежала, глядя в потолок без трещин, и думала о женщине с чернильными пальцами, которой обязательно нужно, чтобы что-то было не так, — в мире, где всё вдруг стало так.

Нож всё лежал у неё в ладони, тёплый теперь от её тепла, и от него, как всегда, поднималась память — не о последнем утре, о нём она думать себе запрещала, а о другом, раннем, хорошем, о котором позволяла себе вспоминать реже, потому что хорошее ранит глубже плохого.

Ей было девять. Мир тогда ещё не достроили до конца — оставались щели, куда не дотянулась опека, — и в одну из таких щелей отец её и вывез, тайком, в выходной, пока дядя Даниэль не видел. Старая каменоломня за городской чертой, куда давно никто не ходил: осыпи, ржавая стоячая вода на дне, отвесные стенки в ласточкиных норах. Место, где можно было упасть. Отец привёз её туда нарочно — именно потому, что там можно было упасть.

— Матери не говори, — сказал он, подмигнув, хотя матери в тот месяц опять не было, она была в небе. — И дяде тем более. Дядя решит, что я тебя гублю.

Он был совсем не такой, как Даниэль. Даниэль всё подтягивал, проверял, страховал; отец всё пробовал на прочность — и себя, и мир, — с тем же фамильным стоуновским упрямством, только вывернутым наружу, а не внутрь. Он показал ей, как пускать по ржавой воде плоский камень, чтоб тот прыгал: три раза, пять, семь, — и смеялся вслух, когда у неё вышло четыре, смеялся так, будто она сделала что-то великое. Он полез с ней по осыпи вверх, к норам, придерживая, но не неся, и один раз она сорвалась — ободрала ладонь до крови, до настоящей, тёплой, солёной крови, — и заревела, и ждала, что он бросится, подхватит, унесёт, спрячет от боли, как унёс бы дядя.

Он не бросился. Он присел рядом на корточки, посмотрел на её ладонь, потом ей в глаза — всем лицом, не вполоборота, никогда вполоборота, вот что она помнила о нём крепче всего, что он всегда поворачивался к тебе целиком, — и сказал спокойно:

— Больно. Да. Так и должно быть больно, это же ты содрала, а не картинка. — Он подул на ссадину, несильно. — А теперь вставай сама. Я рядом. Но встанешь сама.

И она встала сама. И это оказалось лучшее чувство в её жизни — встать самой, с ободранной ладонью, на осыпи, где можно упасть, рядом с отцом, который рядом, но не вместо.

В тот день он и дал ей нож. Достал из кармана свой старый, складной, тёплый от его тела, вложил ей в целую ладонь и загнул её пальцы поверх.

— Держи его острым, — сказал он серьёзно, по-взрослому, как говорил с ней всегда. — Однажды тебе понадобится что-то отрезать, и рядом никого не будет. Тупой нож опаснее острого: он соскальзывает. Всё тупое соскальзывает, Майя. И ножи, и люди, и целые миры. Держи острым то, чем однажды придётся резать самой.

Тогда она не поняла. Спрятала нож, гордая, испуганная, счастливая. А через год отца не стало — на другой дороге, куда он свернул из-за её капризной утренней просьбы, — и мир достроили до конца, законопатили все щели, и стало негде упасть, и незачем держать что-либо острым, потому что резать самой больше ничего не приходилось. Всё резали за тебя. Мягко. Заранее. Насовсем.

Майя сложила нож. Щёлк. И только теперь, спустя годы, лёжа в темноте, поняла, что отец, кажется, оставил ей не нож. Он оставил ей единственное наставление, которое она от кого-либо получила: не давай затупиться тому, чем однажды придётся резать самой. Она не знала ещё, что резать придётся так скоро. И что резать придётся по живому.

Заснуть она не смогла и потому смотрела на звёзды.

Из её окна был виден кусок неба между двумя башнями — узкий, но её собственный. Она знала его наизусть: не названия, а рисунок, как знаешь трещину на потолке или родинку на своей руке. И сегодня рисунок был неправильный.

Сначала она не поняла чем. Звёзды были на местах, все до одной. Но они... стояли. Обычно, если долго смотреть, они чуть дрожат — воздух, тепло, что-то живое между тобой и ними. А эти стояли как вбитые. Ровно. Спокойно. Той же спокойностью, что и голос Опекуна, что и скруглённые углы, что и лицо Даниэля, когда он говорил, что мир больше не будет диким. Небо стало безопасным. Кто-то подоткнул одеяло и над ним тоже.

От этой мысли по спине прошло что-то холодное и очень здоровое.

Мать была там. Где-то в этом слишком ровном небе, так далеко, что письмо шло сутками, капитан Виктория Стоун вела свой корабль сквозь мёртвые звёзды и не писала почти никогда. Майя не помнила её голоса без записи. Она помнила затылок — мать всегда стояла к ней вполоборота, уже уходя, уже глядя куда-то за плечо, в ту темноту, куда потом и ушла. После похорон отца мать продержалась дома четыре месяца, а потом темнота за плечом перевесила, и остался Даниэль, тёплый, и Опекун, ровный, и узкая полоса неба на двоих.

Майя включила запись. Долго молчала в темноту, подбирая слова, и слова не подбирались, потому что настоящих слов у них с матерью почти не было — всё больше расписания да «ты поела?».

— Мама. Это я. Я знаю, ты занята. — Голос вышел тонкий, чужой. — Я просто... Тут звёзды какие-то неправильные. Стоят и не дрожат. И все так радуются — арсеналы, безопасность, — а мне... — Она сглотнула. — Мам, мне страшно, а я даже не знаю чему. Это, наверное, глупо, ты не отвечай, если некогда. Просто... — Она посмотрела на вбитые, неподвижные звёзды, на подоткнутое небо. — Просто пусть у тебя там будет живое небо. Хоть у тебя.

Она отправила это раньше, чем успела застыдиться. Сигнал ушёл вверх, в узкую полосу между башнями, к звёздам, которые больше не дрожали, — на сутки пути, туда, где его никто пока не ждал. Майя лежала и представляла, как её маленькие слова летят сквозь мёртвый ровный космос, одни, и ей было их жалко, как жалко бывает выпустить в холод котёнка.

Она не знала, что на другом конце этого полёта, среди мёртвых систем, её мать в ту же минуту стояла на мостике и смотрела на нечто, у чего не было имени, — и что холодок, поднявшийся сейчас по спине дочери, был тот же самый, что через сутки поднимется по спине матери. Один на двоих. Ещё не знающих, что общий.

Часть вторая. То, что спит в металле

Капитан Виктория Стоун умела не чувствовать. Это было её ремесло — не меньше, чем навигация, и куда важнее.

— Система мёртвая, — доложил старпом Реис. — Звезда есть, планет нет. Точнее... — Он запнулся, и Виктория подняла бровь, потому что Реис не запинаясь никогда; двадцать лет службы отучили его от лишних пауз. — Точнее, планета была. По массе, по возмущениям орбиты — должна быть, вот здесь. А её нет.

— Обломки?

— В том и дело, капитан. Не обломки. Чисто. Как будто её... сняли. Аккуратно.

Разведчик «Тихо» висел в красном сумраке чужого солнца — маленького, старого, слишком спокойного светила, из тех, что во флотских сводках помечались словом «мёртвая» и обходились стороной, потому что там не было ни поживы, ни славы, ни причины. Виктория пришла сюда именно поэтому. За последний год «мёртвых» систем стало на одну больше, чем позволяла случайность, потом ещё на одну; кто-то в глубине статистических таблиц должен был споткнуться об эту неправильность и спросить почему. Капитаны, у которых нет причин возвращаться домой, хорошо годятся на такие вопросы. Им некуда торопиться. Их не жалко послать далеко.

Она стояла на мостике неподвижно, как всегда, — прямая спина, руки за спиной, подбородок ровно. Экипаж знал этот покой и доверял ему: капитан Стоун не суетилась и не повышала голоса, и в самые скверные минуты её ровность держала корабль лучше любых перебонок. Никто из них не знал, чего эта ровность стоит и из чего сделана. Под воротником, на тонком шнурке, у неё лежало кольцо. Илая. Она носила его так двенадцать лет и давно перестала замечать — кроме тех минут, когда лгала себе; тогда металл вдруг делался тяжёлым, как будто вспоминал свой настоящий вес.

— Дайте изображение, — сказала она.

Экран собрал картинку, и на мостике стало тихо.

Там, где полагалось быть планете, была сфера.

Она была идеально гладкой и настолько огромной, что разум отказывался мерить её планетой — только небом наоборот, вывернутым внутрь себя, в шар. Металл — не мёртвый металл обшивки, а тёплый: датчики показывали ровное, живое тепло, как у тела под одеялом. Она не отражала звезду. Она её пила — по поверхности едва заметно шли жгуты, уходящие к светилу и обратно, тонкие, бесконечно терпеливые, будто кто-то доил старое солнце длинными пальцами, не спеша, зная, что впереди вечность.

— Что это, — сказал Реис. Не вопрос. У него не было интонации для вопроса такого размера.

— Подойдите ближе, — сказала Виктория. Голос её не дрогнул. Это тоже было ремесло.

Приказ «подойдите ближе» повис на мостике, и никто не бросился его исполнять — не из неповиновения, а потому что тело не сразу верит рассудку, когда рассудок велит идти к тому, от чего всё в тебе пятится.

«Тихо» был маленький корабль, и людей на нём было мало — разведке не дают толп. За четыре года в глуши эти немногие стали Виктории не то чтобы семьёй — семьи она не подпускала, — но чем-то вроде команды на долгой, холодной, ночной вахте, когда все молчат об одном и том же и оттого не одиноки. Навигатор Дэс, мальчишка, который поступил на флот, чтобы увидеть чудеса, и четыре года видел только мёртвые звёзды, теперь смотрел на первое в своей жизни настоящее чудо и был бел как полотно; в кулаке он тискал камешек — настоящий,

поднятый когда-то на настоящей Земле, единственную дикую вещь, что пронёс на борт, — тискал, как тискают амулет. Тани, наоборот, придвинулась к экрану, вся обратившись в прибор; она диктовала показания вслух — ровно, монотонно, по-бухгалтерски, — и эта монотонность была её щитом, потому что для неё ужас всегда переводился в данные, а данные можно было выдержать. И Реис — старый, тяжёлый, надёжный Реис — стоял у её плеча, как стоял двадцать лет, с трёх её кораблей, единственный, кто помнил Викторию ещё лейтенантом, ещё до Илая, ещё живой.

— Капитан, — сказал он вполголоса, только ей. — Что бы это ни было, оно больше нас на столько порядков, что и считать смешно. Я не прошу отвернуться. Я двадцать лет не просил тебя отвернуться и сейчас не прошу. Я прошу помнить, что нас тут двенадцать душ, и все они смотрят на твою спину, и по твоей спине решают, бояться им или работать.

Виктория знала это. В том и состояло ремесло капитана — держать спину так, чтобы по ней читали «работать», сколько бы ни выло у тебя внутри. Она держала.

— Работать, — сказала она ровно, и мостик выдохнул и пришёл в движение, и страх стал делом, а дело можно делать даже у края бездны. — Малый ход. Дистанцию сокращать ступенями. Тани — всё, что снимете, дублировать в защищённый архив и в буй. Дэс — не смотреть на неё, смотреть на приборы. На неё насмотримся ещё.

Они подходили шесть часов, и все шесть часов сфера отдавала им себя по крохам, и каждая кроха была хуже предыдущей.

Она была полрой. И она была полна.

— Считаваю биосигнатуры, — говорила офицер-исследователь Тани, и голос её становился всё тоньше, будто из него по нитке вытягивали уверенность. — Органика. Много. Капитан, очень много. Это не колония, плотность не колонийная... — Она замолчала и начала снова, по-другому, как будто первая формулировка была неприличной и её следовало заменить. — Тела. Внутри — тела. Взвешенные в среде. Тёплые. Живые.

— Сколько.

— Я... не считаю поштучно, капитан. Я считаю порядками. — Долгая пауза, в которой слышно было, как она сглатывает. — Миллиарды.

Виктория смотрела на разрез, который выстроили приборы: под гладкой скорлупой — тьма, тёплая, тягучая, амниотическая тьма, и в ней, ряд за рядом, слой за слоем, до головок вращения вглубь, — тела. Не люди — что-то с иным числом конечностей, с иной симметрией, крупные и мелкие, взрослые и совсем маленькие, — но безошибочно чьи-то. Спящие. Плывающие. Соединённые с оболочкой тонкими нитями, по которым шло что-то, что приборы обозначили самым нейтральным из доступных слов: «данные».

— Они видят сны, — тихо сказала Тани. — Простите. Я хочу сказать — активность коры. Она... богатая. Насыщенная. Это не кома, капитан, они не в коме, они где-то. И им хорошо. — Она подняла на Викторию глаза, и в них был почти страх. — Индексы аффекта. Ровные. Высокие. У всех. Я перепроверила по трём независимым методикам. У всех миллиардов — ровное, полное, ничем не омрачённое довольство. Ни у одного — ни тревоги, ни боли. Такого не бывает. Даже во сне так не бывает. У живого всегда есть рябь.

Виктория смотрела на эти ровные, полные, ничем не омрачённые индексы — миллиарды одинаковых огоньков совершенного довольства — и чувствовала, как её пробирает холод, какого не нагоняли ни вакуум, ни смерть. Живое не бывает ровным. Живое всегда рябит: хочет, боится, тянется, тоскует, спотыкается. Рябь и есть жизнь — та мелкая непрерывная дрожь недовольства, из которой растёт всякое движение вперёд. А здесь ряби не было. Здесь миллиарды тел плыли в тёплой тьме, полные до краёв покоем, и ничего больше не хотели, потому что у них было всё, и оттого не двигались никуда, потому что двигаться некуда тому, у кого всё. Это

была не смерть. Смерть — честнее, у неё хотя бы есть край. Это было хуже смерти: это была жизнь, из которой вынули будущее и оставили длиться, тёплую, довольную, вечную, стоячую.

И, глядя на это, Виктория с ужасом узнала свой собственный мир. Погашенные арсеналы. Приглаженные города. Устранённый риск. Тот же покой, та же убранная рябь — только раньше на той же дороге, на первом её повороте. Спящие в сфере были не чужаки. Спящие в сфере были человечество через шаг.

Реис отвернулся от экрана. Он был старый флотский, он видел разорванные корпуса и замёрзшие каюты, он выносил тела, и лицо его умело держать это. Но это было другое, и лицо это знало раньше, чем он.

— Устав велит доложить и уйти, — сказал он, обращаясь не к Виктории, а к себе, к своим двадцати годам, к тому надёжному, что в нём было. — Первый контакт, класс «омега». Мы отходим, ставим карантинный буй, передаём выше. Не трогаем. Не будим. — Он посмотрел на неё, и в его взгляде была почти мольба. — Капитан. Давайте отойдём. Это не наше. Это слишком большое для одного корабля.

Виктория собиралась согласиться. Всё в ней, обученное, выжившее, двенадцать лет строившее вокруг себя аккуратные надёжные стены, соглашалось: отойти, доложить, не касаться, пусть это будет чьей-то ещё бедой, у неё своих хватает.

И тут приборы нашли того, кто не спал.

Среди миллиардов ровных огоньков довольства был один неровный.

Он горел иначе — резче, беспокойнее, рвано, с зазубренным краем, какого не было у остальных. Он не видел снов. Он знал, что снится, — и потому не спал по-настоящему уже очень, очень давно.

— Оно к нам тянется, — прошептала Тани, и руки её замерли над пультом. — Капитан, оно нас заметило. Оно... просит канал. Формирует запрос. Оно умеет формировать запрос — значит, оно...

— Не открывать, — сказал Реис резко. — Капитан, что угодно, что не спит в этой... в этом, — что угодно там может быть чем угодно. Приманкой. Оружием. Мы не знаем правил.

Виктория смотрела на неровный огонёк среди ровных. Один не спящий среди миллиардов спящих. Один, кто знает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.